

**Литвинчук И.Н.**  
**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭМОТИВНЫХ СМЫСЛОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ.**

Проблема восприятия – одна из ключевых в современной антропологии, которая рассматривается как универсальная наука о человеке, включающая лингвистику, психологию, физиологию, этнографию и т.д. (Самохвалов, 1995). Взаимопроникновение, взаимообусловленность и взаимодополняемость этих отраслей науки предопределяют создание яркой, гармоничной, всеохватывающей «картины мира» (Соколовская, 1998). Системно-комплексный подход способствует, во-первых, описанию психологической модели восприятия и уровневому характеру этого процесса, во-вторых, изучению физиологических механизмов подкрепления психологических процессов и их внешних форм проявления на поведенческом уровне и, наконец, выявлению характера и форм переносных, символических смыслов семантических и структурных языковых явлений, отражающих психические процессы.

Проведенный психолингвистический эксперимент позволил выявить комплексную обусловленность речевых, этологических, психологических и физиологических коррелятов личностно опосредованным реагированием как системой устойчивых отношений на субъективно значимые компоненты эмотивной информации. Следует отметить, что эмотивность является одной из основных характеристик экспрессивности художественного текста (Шаховский, 1987).

Вообще текст для представителей гуманитарных областей знаний является одновременно и конгломератом языковых структур и риторических правил, и манифестацией языковой личности, и средством речевого воздействия. При психолингвистическом подходе текст в процессуальном аспекте рассматривается как единица речевой деятельности, а в статическом – как единица общения. Такой подход позволяет рассматривать текст в прагматическом ракурсе, то есть с точки зрения его автора, продуцента (говорящего или пишущего) и его адресата, реципиента (слушающего или читающего). Прагматический компонент значения, выступая обязательным звеном в организации семантической структуры эмотивного текста и его конструкторов – специализированных синтаксических конструкций, непременно сопрягается с воздействующим событием, типовой обозначаемой ситуацией (Всеволодова, Яценко, 1988) и через ее посредство отображает позицию по отношению к ней говорящего. Таким образом, характеристика эмоциональной направленности восприятия зависит от ориентации личности на субъективно значимые элементы коммуникативных ситуаций. Модальность объективируется в качественных и количественных особенностях эмотивных

синтаксических конструкций как основных структурных и семантических составляющих эмотивного текста. Гибкость эмоциональной регуляции проявляется в степени вариативности эмоциональных модальностей и оперативности их смены в тексте.

Именно в культуре проявляются критерии и особенности ценностной ориентации Мира как носителя человеческих смыслов. Художественный текст как культурный феномен эксплицирует тайный язык мироощущения. По мнению специалистов в области семантики текста, при восприятии художественного текста основной когнитивной задачей реципиента является семантическая интерпретация художественных образов с целью обнаружить смысл, понимаемый как "отношение изображаемого к эстетическим, нравственным и интеллектуальным ценностям" (Маслова, 1997). Этот психологический процесс подразумевает активное подключение всех ментальных операций, связанных с интериоризацией семантики конкретного языкового материала, в том числе привлечение обширной базы прошлого опыта, сочетание элементов воображения, абстрагирования и обобщения, осознание корреляции личностных смыслов с социальной нормой, возможность интуитивного подхода, рациональный анализ и синтез.

Мы постарались выяснить влияние "коэффициента эмотивности" текста и характера преобладающих в нем эмотивных синтаксических конструкций на систему субъективных смыслов реципиентов и как следствие – на их языковую компетенцию. Теоретическое значение имеет также установление в работе связи структуры индивидуальности с характером латерализации речевых синтаксических процессов эмотивности.

Одной из задач эксперимента было доказательство приоритета влияния на процесс интериоризации, "субъективного преломления и индивидуальной модификации" эмотивных смыслов текста факторов психологических интенций реципиента, "значимостью для него содержания образов" и "формы и семантики знаков, посредством которых задается образ" (Маслова, 1997). В ходе эксперимента была предпринята попытка верифицировать степень и характер прагматического эффекта образной эмотивной системы языка стимульных текстов различных типов, влияющие семантики эмотивных языковых конструкторов этих текстов на формирование субъективного, "индивидуально-личностного" эмотивного образа. Поскольку эмоциональный момент является одним из основополагающих принципов когнитивной перцепции индивида, анализ структурно-семантических особенностей эмотивных синтаксических конструкций, содержащихся в

речи испытуемых, был принят нами в данной работе как основа методологии.

В эксперименте принимали участие 58 студентов Симферопольского государственного университета и Крымского экономического института обоюбого пола в возрасте 18-22 лет. Проведено пять серий экспериментов, в каждой из которых испытуемым предъявлялся для прослушивания один текст. Каждая серия строилась по следующей схеме: 1 - психологическое тестирование, 2 - беседа по "сценарию" + регистрация невербального поведения, 3 - запись физиологических показателей во время прослушивания текста, 4 - психологическое тестирование, 5 - беседа по "сценарию" + регистрация невербального поведения.

Таким образом, в процедуре эксперимента значительное место отводится методике лингвистического интервью. Если в беседе до прослушивания текста-стимула вопросы носят характер выявления субъективного отношения испытуемых к различным жизненным ситуациям, способным вызвать определенную эмоциональную реакцию, то в ходе беседы после прослушивания стимульного текста было намечено выяснить следующее: а) степень ознакомленности реципиентов с данным стимульным материалом и с произведением в целом и, следовательно, соотношение удельного веса "эффекта обманутого ожидания" или прецедента подтвержденного ожидания; б) совпадение или несовпадение эмотивного аспекта коммуникативных целей автора текста и реципиентов; в) степень субъективной ценности для реципиентов информации, содержащейся в эмотивных текстах различных типов; г) влияние мировоззренческих установок реципиентов на эмоциональное восприятие ключевых фрагментов текста-стимула, отражающих его эмотивную фреймовую организацию (Филмор, 1981).

В качестве стимульного материала в эксперименте были использованы композиционно стройные и сюжетно законченные эмотивные тексты, структурными элементами которых являются эмотивные синтаксические конструкции различных типов (ЭК). В качестве основного принципа классификации ЭК был избран способ морфологического выражения предиката. Выбор текстов осуществлялся исходя из семантики основных эстетических категорий: комическое (отрывок из романа И. Ильфа, Е. Петрова "Двенадцать стульев"), трагическое (отрывок из романа Ф. Достоевского "Униженные и оскорбленные"), драматическое (фрагменты из произведений М. Булгакова – романа "Мастер и Маргарита" и повести "Роковые яйца"). В качестве «фонового», условно нейтрального был принят в качестве стимульного текст «Техническое устройство автомобилей», не содержащий эмотивов.

Следует отметить, что эстетические категории могут представлять семантические антиномии (прекрасное - безобразное, возвышенное - низменное, трагическое - комическое), которые подтверждают вариативность эмоциональной перцепции одного и того же объекта действительности разными субъектами когнитивной деятельности. Обусловливается данный феномен вторичной креативности, то есть создания реципиентом индивидуальной образной и смысловой системы определенного текста, отличающейся от авторского замысла или совпадающей с ним, психологическими факторами сознательного (социального), подсознательного (чувственного) и надсознательного (нравственного) отношения к объектам действительности. Предполагается, что кроме вышеуказанных экстралингвистических факторов, ведущая роль в процессе перцепции принадлежит эстетической оценке эмотивно-образного содержания конкретных текстовых стимулов.

На примере лингвистического анализа конкретного художественного текста в статье обосновывается выбор текстов в качестве стимульного материала посредством экспликации приемов использования морфолого-синтаксических средств языка, формирующих риторические фигуры, для создания эмотивного образного плана.

Отрывок из романа Ф. Достоевского "Униженные и оскорбленные" (Достоевский, 1981) рассматривался в ходе эксперимента как стимульный текст с превалированием эксплицитно отрицательных эмотивных синтаксических конструкций. Экспозиция текста соответствует жанровым особенностям авантюрно-детективного романа в отношении способа введения интриги: "...на дворе...раздался пронзительный женский визг и затем ругательства". Эмоциональное описание главной героини данного фрагмента романа - Бубновой - дано в восприятии рассказчика (Ср.: Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке и в зеленой шали. Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости). Негативная семантика передается не только посредством экспликации "непрестижного" социального положения, но и символикой цвета. Агрессивность цветовой дисгармонии (сочетание "зеленой шали" и "отвратительно-багрового лица") подчеркивается и эмоциональной кинемой "маленькие заплывшие и налитые кровью глаза сверкали" с каузативным вторичным предикатом "от злости". Действительно, по всем логико-психологическим законам физиогномики, едва ли можно ожидать от личности с таким лицом позитивных действий. Положение Бубновой далее еще более отягощается: "Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время". Драматическое развитие

действия не заставляет себя ждать: "Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках". Пассивно-угнетенное состояние жертвы агрессии выражено предложно-именной ЭК с эксплицированной негативной семьей.

Последующий отрывок текста, описывающий свидетелей этой сцены, был нами изъят из стимульного текста с целью "устранения" семантической сложности. Свидетели ("бедно одетая женщина средних лет", "дряхлый старик и девушка", "полурастрепанное, набеленное и нарумяненное женское существо", "рослый и дюжий мужик, вероятно, дворник") данной сцены занимают в ней пассивную позицию, и ни одной их реплики мы не услышим. Поэтому вполне правомерным представлялось выведение этих субъектов за рамки данной эмотивной ситуации с целью достижения более выраженного эмпатического эффекта: индифферентное поведение группы наблюдателей могло привести по принципу социальной нормативности поведения к автоматической нейтрализации отношения испытуемых к происходящему "на сцене".

Введение пространной речи мешанки Анны Трифоновны воспринималось реципиентами особенно эмоционально благодаря неожиданному сочетанию анадиплозиса междометия с традиционно положительной эмоциональной валентностью, но в контексте эксплицирующего негативную эмоцию, и амплификации субстантивных предикатов с ярко выраженной инвективной семантикой (Ср.: - Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивка, гнида ты этакая! - визжала баба, залпом выпускающая из себя все накопившиеся ругательства, большую часть без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием, - так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая!). Под анадиплозисом мы понимаем фигуру речи, состоящую в повторении слова или выражения в начале или конце следующих друг за другом групп слов, а под амплификацией - стилистическую фигуру, состоящую в накоплении синонимов с семантикой нарастающей выразительности. Первые три инвектива можно полноправно рассматривать как синонимы с нарастающей семантикой негативной литоты.

В текстах бесед постстимульного периода были отмечены неоднозначные варианты интерпретации испытуемыми семантики ругательств, которые "изрыгает" Бубнова. Большинство реципиентов отмечали тематическую близость инвективов по ассоциативным связям их с "неприятными", "противными" представителями животного и растительного мира, приносящими человеку много неприятностей: "гнида этакая", "лупоглазая гадина", "гниль болотная", "пиявка", "змея гремучий", "стерва", "облизьяна зеленая", "поганка", "семя крапивное". Другой ассоциативной группой субстантивных инвективов являются наименования субстанций

потустороннего мира, нечистой силы: "лохматая" (явно характеристика какого-либо чудовища), "идол проклятый", "упорная сатана", "изверг". И, наконец, в третью группу входят оценочные номинации бедной Елены, связанные с негативными социальными установками: "распутница", "цыганка", "фря этакая", "маска привозная". Особняком стоят инвектив в затемненной этимологией, приобретающий в данном контексте негативную семантику, дополнительно транслируемую звукописным стечением шипящих ("черная шпага французская"), и существительное "яд", употребленное без какого бы то ни было вспомогательного определения - интенсификатора, однако в конце градационного ряда инвективов (Ср.: К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд!..), что дает возможность говорить о семантической избыточности данного инвектива, ассоциирующегося с образом однозначно деструктивного явления, "убийцы", грозящего смертью всему живому.

Характерно, что почти все эти субстантивные инвективы употребляются в синтаксической функции обращения (девочка ни разу не названа Бубновой собственно по имени), что придает им еще большую значимость в экспрессивно-эмотивном плане. Однако интересным представляется тот факт, что участвовавшие в эксперименте студенты-филологи отмечали, что ругательства-инвективы естественно воспринимались ими как самостоятельные предложения. Деструктивное влияние эмоций на синтаксическое структурирование фразы приводит как к семантическим, так и структурным сдвигам: инвективы, утрачивая традиционную "бесфункциональность" обращений, обретают семантическую пропозициональную наполненность и как следствие - функцию главного члена предложения. При интерпретации содержания текста испытуемые выделяют прежде всего эти субстантивные аффективы сугубо негативной эмоциональной семантики как наиболее запомнившиеся, иногда упуская из вида, "забывая" непосредственно сюжетно-композиционные моменты текста. Следовательно, можно рассматривать эти эксплицитные эмотивы как тема-рематические составляющие всего текста; ими начинаются и ими же заканчиваются все основные тематические отрезки данного текста. Эмоциональные эпитеты служат, по закону тематического согласования, подкреплению негативного значения субстантивных инвективов, создавая порой впечатление семантической избыточности, что неоднократно было отмечено реципиентами (Ср.: Это уже слишком!).

В комментарии автора-рассказчика при прямой речи сочетаются метафорическое выражение ("без запятых и без точек") и вербализованный элемент аудиального

восприятия речи Бубновой ("с каким-то захлебыванием"). Последняя часть этого предложения впечатляет нестандартной дистрибуцией книжной лексики высокого стиля и просторечного прилагательного-инвектива (Ср.: так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая!). Следует отметить, что особую экспрессивность данному дискурсу придает вполне естественная характеристика всех девяти предложений, входящих в него, по интонации: все они восклицательные, что профессионально было передано актером при чтении данного текста-стимула. Ругательства Бубнова перемежает с эмоциональными апелляциями, в которых "носителем эмоций" является непосредственно сердце. Елена, по словам Бубновой, покушается на жизнь этой "почтенной женщины" (Ср.: Сердце мое чувствовало, что улизнет. ...Ныло сердце мое, ныло!... Кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело мое поела!...Сердце мое надрывает!.. Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила!... Сердце мое предчувствовало,.. ныло оно, ныло, ныло-ныло!). Как видим, неоднократный повтор в разных тематических фрагментах данного текста глагольного предиката с эксплицированной эмотивной семой "тревога" употребляется автором для выражения лицемерного умышленного нагнетания Бубновой напряженной, мрачной, "душной" атмосферы.

Автор выражает свою эмоциональную оценку поведения Бубновой не только посредством речевой характеристики. Например, вторая и третья части речи Бубновой вводятся словами автора, который именует Бубнову не иначе, как "разъяренная баба", и затем - "разъяренная мегера". При этом в первой части встречаем номинацию "баба", а в заключительной, кульминационной, автор характеризует Бубнову только неоднократно повторяющимися субстантивными подлежащими-эмотивами с "отягощенной" негативной семантикой "фурия".

При рассмотрении сюжетной канвы этого отрывка из романа Достоевского обращает на себя внимание тот факт, что автор пользуется принципом семантической градации и при расположении в речи Бубновой аргументов-обвинений, которые бросает Бубнова "своей бедной жертве". Бессмысленность, алогичность, бессодержательность "обвинений" в адрес Елены в начале речи Бубновой (Ср.: За огурцами послали ее, а она уж и улизнула! За огурцами в лавочку ее послала, а она через три часа воротилась!) постепенно сменяется вполне понятными аргументами, объясняющими суть "вины" несчастной девочки перед "разъяренной бабой": "Где была? Куда ходила? Каких покровителей себе нашла?.. Кому, семя крапивное, жаловалась, кому на меня доносила?" Наслоение вопросительных предложений с нарастанием всеобъемлющей отрицательной семантики создает дополнительный эмоционально-экспрессивный эффект.

В первой части, когда Бубнова дает себе волю в выражении неприкрытой бесноватой злобы, не содержится мотиваций такого ее поведения, поскольку "мегера" чувствует свою безнаказанность и полную неконтролируемость своих действий. Употребление "животных" инвективов дает понять, что не будет предела ее издевательствам над девочкой. Однако крайнее пренебрежение, с которым Бубнова отзывается о Елене, автоматически переносится на саму "мегеру", вызывая у реципиентов "чувство невыразимой гадливости: "Да как она смеет!" Когда внезапно появляется негласный свидетель, Бубнова резко меняет тактику линчевания, поскольку аргументы, узаконивающие такие беспрецедентные действия, просто необходимы: "И разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы".

Главным "пунктом" обвинений, предъявляемых Бубновой Елене, является, якобы ее "черная неблагодарность", вызывающая в "разъяренной бабе" шквал гнева (Ср.: Я ль ей не благодетельствовала! Да я ее поганке-матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертенка ее на воспитание взяла... Что ж, не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала, а вместо чувства она супротив идет!). Как мы знаем из контекста, даже эти сомнительные "благоденствия" не соответствуют действительности. Реципиенты с насмешкой интерпретируют понимание счастья Бубновой (Ср.: Я ей счастья хотела. Я ее, поганку, в кисейных платьях водить хотела, в Гостином ботинки купила, как паву нарядила, - душа у праздника!). Особо впечатляет испытуемых нетрадиционный идиоматический эмотив с эксплицитной семой положительной эмоции. Гневная реакция Бубновой на акцию протеста девочки (Ср.: Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня все платье изорвала, да так и ходит, так и ходит! Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, - не хочу лгать, сама подглядела; хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном) обусловлена самостоятельной линией поведения девочки, ее гордой независимостью, которая, по мнению Бубновой, совершенно неуместна в таком приниженном положении.

Повествуя о собственных злодеяниях, "разъяренная баба" бахвалится ими и упивается рассказом о способах постоянных и неоднократных экзекуций Елены: с психологической точки зрения здесь можно выделить явно садистские тенденции в психике героини (Ср.: Вчера ввечеру все вихры ей за это оттаскала... Ну, отвела тогда душу над ней, исколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. ...Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее била, руки

обколотила все об нее...). Ухищрения Бубновой в унижении и оскорблении ненавистного ей беззащитного, но гордого существа не имеют разумного предела (Ср.: ...чулки, башмаки отняла, не уйдет, на босу ногу, думаю; а она и сегодня туда ж!) и обусловлены осознанием полной своей безнаказанности: "А ведь задавить тебя, гнида ты этакая, так только неделю молока не пить, - всего-то наказанья за тебя только положено!"

Предварительно "исколотив" девочку, Бубнова придумала новое наказание: "...полы мыть ее заставила". За этим следует негативная эмоциональная оценка поведения Елены: "...Что ж бы вы думали: моет! Моет, стерва, моет! Горячит мое сердце, - моет!" Как видим, введение апеллятивной глагольной конструкции, выражающей имплицитное эмотивное значение целого спектра эмоций (удивление, возмущение, гнев), позволяет акцентировать причину такой негативной оценки, а также состояния Бубновой ("горячит мое сердце"), отрицательная эмоциональная окраска которого эксплицируется только из семантики контекста, поскольку глагольный предикат в составе метафорического выражения следует рассматривать как амбивалентный: сердце может "горячить" не только ненависть, но и любовь.

Все реципиенты отмечают, что "аргументация" Бубновой совершенно изуверская, "иезуитская", деспотичная (Ср.: Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да воду эту пить, изверг, черная шпага французская. Околела бы без меня!), а часто и откровенно преступная с точки зрения общечеловеческих нравственных законов (Ср.: Не хочу, чтоб против меня шла! Не делай своего хорошего, а делай мое дурное, - вот я какова!). Степень цинизма Бубновой совершенно не осознается ею самой: похоже, что это норма ее поведения и стандарт ее отношения к миру. Участники эксперимента высказывали единодушное возмущение следующими "излияниями" Бубновой, которые она приводит в качестве своего "оправдания": "Мать издохла у ней! Сами знаете, добрые люди: одна ведь осталась, как шиш на свете!" Введение грубых просторечий негативной семантики в такой трагический контекст обратило на себя внимание почти всех девушек-испытуемых. Лицемерное употребление Бубновой обращений-эмоциональных апеллятивов с положительной семантикой ("добрые люди", "бедные люди", "милая ты женщина") обладает суггестивно-устрашающим значением: Бубнова стремится не столько привлечь на свою сторону свидетелей этого преступления против ребенка, сколько продемонстрировать полноправность, законность своих оценок, действий и поступков. Абсурдность ситуации выражена автором в том, что в качестве своих заступников Бубнова называет в одном ряду Николая Угодника и "частного пристава Андрона Тимофеича" (Ср. в разных фрагментах текста: Вижу у вас, бедных

людей, на руках [о Елене], самим есть нечего; дай, думаю, хоть для Николая-то Угодника потружусь, приму сироту; Да меня сам Андрон Тимофеич как благородную почитает!).

Все три тематических отрезка речи Бубновой являются своеобразной эмоциональной пресуппозицией кульминационных событий. Так, вынесение предложно-именной части составного эмотивного предиката в абсолютное начало предложения и прием инверсии позволяют автору достичь максимального экспрессивного эффекта при описании безобразного припадка бешенства "пьяной бабы": "И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь". Градационный ряд однородных глагольных предикатов с эксплицитной (совмещенная ЭК со структурной схемой Vf в N5 - "в исступлении бросилась") и имплицитной эмотивной семой ("вцепилась", "грянула оземь") создает впечатление внезапности и неотвратимости этого почти природного стихийного явления: как отмечают реципиенты, это "буря в пустыне".

Состояние бедной Елены передается при помощи определения, выраженного сочетанием причастного эмотивного актанта "обезумевшую" со вторичным предикатом - каузатором данного эмоционального психического состояния «от страха». Казалось бы, бешенство "фурии" достигло своего предела, однако последующий контекст свидетельствует об обратном: "Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это еще более усилило бешенство пьяной мегеры". Как видим, особо значимой является для автора неадекватность несущественной причины и собственно эмоционального состояния, вызванного ею. Имплицитно выраженная оценка жестоких действий Бубновой подчеркивается введением в контекст элемента (жертва), подчеркивающего беззащитность и вынужденную пассивность объекта агрессии: "Она била свою жертву по лицу, по голове, но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями". В этом контексте уточняющий оборот "даже и под побоями" служит интенсификатором при описании достойного поведения Елены в такой ужасной обстановке; еще более усиливает впечатление предельного накала страстей прием эмотивного анадиплосиса и полисиндетона (многосоюзия). Явственно ощущается надрывность, неестественность реакции Елены на такое унижение, что можно объяснить только ее шоковым состоянием; большинство реципиентов так описывали свое впечатление при прослушивании данного отрывка: "Было ощущение, что должно случиться что-то ужасное". Более естественным выглядит поступок Ивана, к которому его побудили опять-таки чувства: "Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе".

Похоже, Бубнова знает надежный способ защиты от посягательств на собственный авторитет: когда в ход дел вмешивается рассказчик [Иван], бывший до сих пор безмолвным свидетелем, "гадкая баба" сразу переходит в наступление, обрушивая на несчастного шквал обезоруживающих "аргументов", устраивает чуть ли не допрос с пристрастием, формулирует "состав" его преступления, не забыв при этом воззвать к заступнику-Иисусу (Ср.: - Господи Иисусе! - завопила фурия, - да ты кто таков навязался! Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу! Да меня сам Андрон Тимофеич как благородную почитает! Что она, к тебе, что ли, ходит? Кто такой? в чужой дом буянить пришел? Караул!). Итак, налицо все факты коррупции со всеми вытекающими эмоциональными последствиями.

Одобрительная оценка автором поступка героя романа выражена эксплицитно как в лексической семантике, так и в характере синтаксиса прямой речи и собственно слов автора (Ср.: - Что вы делаете? Как смеете вы так обращаться с бедной сиротой! - вскричал я, хватая эту фурию за руку. // - Это что! Да ты кто такой? - завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки. - Вам что в моем доме угодно? // - То угодно, что вы безжалостная! - вскричал я. - Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? Она не ваша; я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота). Контрастность "высокой", книжной эмотивной лексики в прямой речи, принадлежащей Ивану Петровичу ("вскричал", "кричал" вместо "завопила", "завизжала" - у Бубновой; "Как смеете тиранить?.." в противовес реплике "Да ты кто такой?" Бубновой) сочетается с особенностями эмотивного синтаксиса обоих конфликтующих героев (инверсия "как смеете вы...", передающая особо интенсивную эмоцию справедливого негодования Ивана; эвфемизм - адъективный эмотивный предикат вместо вполне уместного более "сниженного" варианта: "...Вы безжалостная..." ; парцеллированность разговорных синтаксических конструкций в речи Бубновой). Все эти средства служат эксплицитному выражению эмоций благородного возмущения, негодования, с одной стороны, и всепоглощающей злобы, тотальной ненависти - с другой. Автор отмечает характерную невербальную реакцию Бубновой ("подпершись руками в боки"), которую однозначно следует трактовать как проявление наступательного агрессивного поведения.

Характерно, что, отвечая на вопрос постстимульной беседы ("Как вы оцениваете поступок Ивана Петровича?"), реципиенты воспринимают Ивана не просто как представителя более высокого, дворянского сословия, а значит, и как человека, обладающего более весомыми, закрепленными юридически, социальными полномочиями, дающими

возможность вступить за оскорбляемую девочку без неприятных последствий для себя. Безусловно, испытуемые отмечают, что речь Ивана более правильная, "плавная", "соответствует синтаксическим нормам"; говорят о том, что эмоциональный эпитет "бедная" (сирота), повторенный трижды, впервые встречается именно в речи Ивана. Однако степень эмпатии настолько высока, что подавляющее большинство выделяют именно высоконравственные общечеловеческие качества Ивана Петровича как человека, благородного в полном смысле этого слова.

При ответе на вопрос: "Как бы вы поступили на месте героя романа?" - почти все девушки-испытуемые выразили желание и готовность повторить поступок Ивана, юноши же были более осмотрительны, объясняя непредсказуемость своей реакции "конкретными объективными жизненными обстоятельствами". Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональная реакция девушек в этой эмотивной ситуации более непосредственна и обязательна, предсказуема, чем у юношей, которые не спешат идентифицировать себя с героем произведения и вникать в мотивировку его "не слишком логичного" поступка. Их эмоциональная реакция связана в основном с исключением вероятности вообще попасть в такую "нелепую" ситуацию.

Завязка событий, описываемых в тексте, как отмечают реципиенты, "вполне предсказуемая": "И она [Бубнова] бросилась на меня с кулаками". Глубокий символический смысл имеет, на наш взгляд, "зеркальный" принцип семантики завязки и заключительной части: здесь опять звучит крик, но теперь он принадлежит не угнетательнице, а ее жертве (Ср.: Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Я взглянул, - Елена, стоявшая как без чувств, вдруг со страшным, неестественным криком ударила оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни). Отметим сходство употребления в этом контексте определения с имплицитной эмотивной семой "пронзительный" и обстоятельства-интенсификатора "вдруг" с контекстом вступительной части: та же внезапность и чрезвычайная интенсивность проявления эмоционально-психического состояния. Однако, зная эмоциональную пресуппозицию концовки, испытуемые отмечали категорическое семантическое различие состояний Бубновой в начале и Елены - в конце текста. Определения-эмотивы "нечеловеческий", "страшный, неестественный" (крик), транслирующие впечатление от поведения ребенка, настораживают и приводят к мысли о возможности нездоровья Елены, а эмотивные глагольные предикаты, эксплицирующие уже клинические симптомы психической болезни ("ударила оземь и билась в страшных судорогах") непосредственно подтверждают

предположение слушателя. Нераспространенное предложение с семантикой эмоциональной кинемы (Ср.: "Лицо исказилось") без обычного в таких случаях вторичного предиката (от гнева, от ужаса) не оставляет сомнения в том, что ребенок доведен до крайней степени безумного отчаяния: "С ней был припадок падучей болезни".

Бубнова реагирует на эту страшную для непосвященного человека сцену совершенно цинично (Ср.: - А хоть издохни, проклятая! - завизжала баба вслед за ней); ясно, что это для нее обыденное, вполне бытовое явление : "В месяц уж третий припадок..." При этом Бубнова не забывает о своей основной задаче - охране территории, и справляется с ней блестяще: "Вон, маклак! - И она снова бросилась на меня».

Превалирование в данном стимульном материале эмотивных синтаксических конструкций вышеуказанного типа дает возможность рассматривать данный текст как эмотивный с эксплицитно выраженной негативной эмотивностью.

Концепция эксперимента предполагала выяснение и следующего аспекта прагматики эмотивного текста: действительно ли диалогический дискурс, обилие разговорной речи, приближенной к реалиям «естественного языка» и привлекающей внимание к индивидуальной авторской манере и личностному психологическому началу в героях, делающей их переживания близкими и понятными, вызывает более сильный эмоциональный отклик реципиентов. По результатам статистического и концептуального анализа фактических материалов эксперимента с привлечением метода семантического дифференциала (Петренко, 1988), реципиенты проявляют большую свободу и динамику в интерпретации семантики тематических

отрезков эмотивного разговорного дискурса в целом и отдельных его конструкторов в частности. Секрет повышенной эмотиогенности синтаксических структур разговорного дискурса кроется в том, что спонтанная речь более быстро проходит путь от формирования глубинных внутренних смыслов до их эксплицирования вовне, чем это происходит с речью в письменной, книжной форме, так как здесь велика роль цензора сознания, коррегирующего многоуровневые единицы речи в соответствии в жесткими языковыми и социальными нормами. Таким образом, разговорная речь не успевает «освободиться от крайней субъективности, индивидуальности» (Маслова, 1997).

#### **Литература.**

1. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. - М.: 1988. - 318 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. - М.: 1955. - С.43-48.
3. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. - М.: Изд-во МГУ. - 1988. - С.28.
4. Достоевский Ф. Униженные и оскорбленные. - Л.: Худож. лит. -1981. - С. 132-135.
5. Всеволодова М.В., Яценко Т.А. Причинно-следственные отношения в современном русском языке. - М.: Наука. - 1988. - С.14.
6. Выготский Л.С. Психология грамматики. - М.: Наука. - 1968. - С.75.
7. Есперсен О. Философия грамматики. - М.: 1958. - С.84.
8. Маслова В.А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста. - Минск: Вышэйшая школа. - 1997. - С. 27, 56.
9. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. - М.: Изд-во МГУ. - 1988. - 208 с.
10. Самохвалов В.П. Этология человека. - Симферополь. - 1996. - С. 16.
11. Соколовская Ж. Семантическая структура слова и "картина мира". - Симферополь. - 1998. - 183 с.
12. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. - М.: Наука. - 1986. - С. 54.